

# ГЛАЗАМИ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

Через 35 лет после смерти  
Сталина журнал «Знамя»  
публикует дневниковые записи  
Константина Симонова



Редкий кадр. Константин Симонов во время работы  
XXIII съезда КПСС (1966 год).

Фото Николая КОЧНЕВА.

деле это было? Ну, что он не разобрался в нем до конца, что ли...

Мои попытки сослаться на то, что все сказанное мною в очерке, как бы оно ни звучало, взято со слов самого К. М., опирается на то, что он сам мне рассказывал, в том числе совсем недавно, в той самой больнице, где я оказался в ту же пору, что и он, не произвели на собеседницу особого впечатления.

— Ну, может быть, вы не так поняли его, а может, это было под влиянием минуты... Он же не мог высказываться тогда всеобъемлюще... Об этом нельзя судить по отдельным словам, надо судить по тому, что он написал... Тут она снова сделала паузу, волнуясь и, видимо, обдумывая следующие фразы: — И по тому, что он собирался написать... Я вам покажу, если хотите, осталось надиктовать листов на двенадцать-тринадцать на эту тему.

Тут я признался Ларисе Алексеевне, что слышал от самого К. М. об этой незаконченной его работе, и сказал, что буду, конечно же, счастлив прочесть ее.

Буквально на следующий день она прислала эту рукопись с водителем Симонова, который по старой памяти помогал семье. Лариса Алексеевна уже тогда была тяжело, смертельно больна, догадывалась об этом, но несмотря на это, а может быть, именно в силу этого не откладывала в долгий ящик ничего, что касалось памяти и литературного наследия ее покойного мужа. Кстати, вместе с этой папкой она прислала мне еще один отзыв на мою работу, принадлежавший одному из самых уважаемых членов комиссии, человека, который, несомненно, знал Симонова дольше и, стало быть, лучше меня.

Тут надо заметить, чтобы было понятно, что в ту первую нашу встречу Лариса Алексеевна сделала мне предложение от имени комиссии взяться за сценарий документального фильма о К. М. и была еще и поэтом заинтересована, чтобы мои представления были как можно полнее и объективнее.

В отзыве, который она мне прислала, наряду с общим одобрением моей рукописи были и такие слова: «Невольно от Б. Д. возникает, что К. М., в сущности, неплохо относился к Сталину или еще не решил, как к нему относиться. Это не так. Именно потому, что его отношение было безоговорочно осуждающим, именно поэтому (так бывало и в отношении к другим людям) он стремится быть объективным, не упрощать и не облекать... Он говорил, что Сталин велик, но страшен...»

Эти немногие строки я прочитал, естественно, раньше, чем сам более чем трехсотстраничный труд К. М. Однако и прочитав с жадностью все присланное мне, я все же

не нашел необходимым что-либо изменять всерьез в своем очерке, что и вынужден был объявить Ларисе Алексеевне.

— Так вот не получается ли у вас, — сказала она мне, — что автор очерка знает, что такое Сталин, а герой его не знает?

— Но что же мне делать, — в шутовом и горестном отчаянии воздел я руки к потолку, — если в его формуле мне правильной кажется лишь вторая ее часть!

Она устало и как-то в раздумье посмотрела на меня. — Впрочем, делайте, как знаете. — Тут она неожиданно щедро улыбнулась. — Как считаете нужным, так и поступайте. Так бы, наверное, вам и К. М. сказал.

ВСЕ вышесказанное объяснит, надеюсь, читателю «Московских новостей», как я был озадачен, когда узнал, что с согласия комиссии по литературному наследию, где место умершей Ларисы Алексеевны принадлежит теперь ее дочери Екатерине Кирилловне, журнал «Знамя» собирает опубликовать незаконченную работу Константина Симонова «Глазами человека моего поколения».

Первым моим порывом было возразить, благо, я тоже член этой комиссии. Вторым — перечитать, посмотреть на эту вещь глазами из сегодняшнего дня, когда все мы — и те, кто и раньше был болен той проблемой, и те, кто был к ней равнодушен или попросту не подозревал о ней или не признавал ее существования, — так много узнали, услышали, увидели, прочитали о Сталине, его времени и окружении. Такого, что раньше было большинству недоступно.

Перечитал рукопись, представленную Екатериной Кирилловной, и вновь оказался во власти противоречивых раздумий и чувств, которыми и хочу поделиться.

Против была, в общем-то, воля самого Симонова. «Прежде всего, — пишет он, — следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства... смогут когда-нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени...»

Тогда, восемь лет назад, когда я впервые прочитал эту работу, глаза мои просто скользнули по этим строкам, не зацепились ни за одну из них. То, что написанное, вернее, продиктованное Симоновым, публикации не подлежит, по крайней мере в том самом «обозримом будущем», о котором он упоминает, было для меня в ту пору само собой разумеющимся. Теперь

я задумался над тем, что же побудило самого автора высказать такую свою волю. По крайней мере два обстоятельства пришли в голову. Само время еще не готово, полагал, видимо, он, не созрело для того, чтобы попытка искренне, до конца высказаться о Сталине была понята — и не только, к примеру, издательским и иным начальством, от которого зависело разрешить эту вещь к публикации, но и самими читателями.

Во-вторых, начиная диктовать эту исповедь за полгода до уже отмеченного, но пока еще неведомого срока, он где-то в глубине души не надеялся уже довести работу до конца. А уж кто-кто, но Симонов не любил выходить на люди небритым, непричесанным или неопрятно одетым.

Что ж, второе обстоятельство продолжает действовать и сейчас. К. М. успел довести свое повествование о Сталине и о себе лишь до порога XX съезда. Сталин к тому времени уже умер, но Симонову предстояло еще жить и пережить многое, быть может, главное в его жизни, но об этом он уже не успел нам рассказать, а между тем все, что он имел и хотел сказать, неминуемо было бы связано с тем же именем, которое неотвязно сопутствовало ему до самых последних дней. И я, прогуливавшийся с ним по больничным аллеям всего за две недели до его смерти, — прямой тому свидетель. А главное, он и сам говорит, что из читательских писем за последние двадцать лет, то есть начиная с публикации «Живых и мертвых», каждое третье и уж наверняка четвертое письмо — о Сталине. Да, он не успел довести свой сюжет до конца, да и написанное им наверняка не является еще его последним словом. Это именно первая надиктовка, когда даже такой испытанный «диктовальщик», каким был Симонов, — это была его техника работы — не всегда мог уследить за общим ходом и логикой своего повествования, соразмерностью частей.

Что же касается его первого соображения относительно «обозримого будущего», оно, как мы видим и убеждаемся каждый день, пришло значительно быстрее, чем на это мог надеяться даже он, великий и несправимый оптимист.

ИСТОРИЯ, продиктованная секретарю Нине Павловне Гордон, муж которой начиная с 1937 года почти двадцать лет провел в лагерях и ссылке, и есть рассказанная с не всегда, может быть, осознаваемой беспощадностью к себе повесть о том, как и почему миллионы людей могли искренне верить и верить Сталину, несмотря на все, что творилось у них на глазах, и как они ужасно ошибались, как горько расплачивались — даже те, кого ни

тюрьма, ни репрессии не коснулись физически.

Можно соглашаться или не соглашаться с тем, что оставил нам в этой своей последней работе Константин Симонов. Одно нельзя не признавать: в ту пору, когда он создавал эту вещь, мало уже осталось в живых людей, которые хранили бы в своей памяти такой запас наблюдений и впечатлений от встреч со Сталиным, от бесед с ним в сравнительно небольшом кругу людей, каждый из которых тоже был по-своему примечателен. И уж наверняка он был к тому времени чуть ли не единственным из оставшихся в живых писателей, часто встречавшихся со Сталиным. А писатель ведь смотрит на все происходящее с ним и перед ним особым взором. И, как правило, спешит своими записями закрепить услышанное и увиденное. Симонов признается, что даже в ту пору, то есть сразу после войны и до смерти Сталина, делал записи, которые и приводит, ничего в них не меняя. Эти личные впечатления, эти документальные записи накладываются на цель размышлений автора, для которого первая половина его трудовой и творческой деятельности как раз совпала с периодом становления, зенитом и закатом сталинской карьеры, если применим здесь этот термин.

Мы узнаем, что жизнь уже в шестнадцатилетнем возрасте столкнула Симонова с первым «потусторонним» опытом, когда в 1931 году арестовали сначала близкого их семье бывшего царского генерала, верой и правдой служившего новому строю, а потом, правда, ненадолго, и отца, тоже из офицеров и тоже твердокаменного, кто до тех пор к происходившим вокруг в ту пору «посадкам» относился, по свидетельству автора, «с пониманием», «бескомпромиссно». В 1935 году в Ленинграде арестовали и сослали в Оренбургскую область трех сестер его матери, а потом вообще началось такое, «что теперь кажется чудовищным, невероятным, но тогда как бы входило в норму какую-то, постепенно становилось привычным для нас, уже двадцатидвухлетних».

Вот оно!.. Симонов не раз еще на протяжении своего повествования вернется с недоумением и горечью к этому мотиву: становилось привычным... «Чуркой в те молодые годы я, очевидно, не был, но ничего из заслуживающих внимания размышлений не помню», — говорит он о поре, относящейся к временному аресту его отца.

Стройка Беломорканала, которой он, кстати, посвятил свою первую поэму, была в его глазах, признается он, «гуманно школою перековки людей из плохих в хороших...» И тут невольно обращаешь мыслью к только что опубликованной в «Октябре» первым главам романа Василия Гроссмана, ждавшего своей очереди к читателю более четверти века: «В помощь инстинкту придёт гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса».

«И в то же время не могу вспомнить (это уже в связи с арестом трех сестер его матери в Ленинграде), что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял для себя происшедшее. Лес рубят — щепки летят, так, что ли?»

Впрочем, продолжать иллюстрировать эту мысль значило бы пересказывать публикуемую в «Знамени» работу Константина Симонова. Но в этом, естественно, нет нужды. Буду рад, если эти несколько вступительных страниц, сочиненных одним из первых читателей того, что Симонов называл «Глазами человека моего поколения», помогут остальным войти в этот изображенный с предельной откровенностью мир, понять его. Хотя понять — не обязательно простить.

Борис ПАНКИН.